

ДАВИД ФОГЕЛЬ

Стихи разных лет

Перевод с иврита и вступление Никиты БЫСТРОВА

Давид Фогель (1891—1944), поэт и прозаик, писавший на иврите, родился в Подолии, в местечке Сатанов. С восемнадцати лет жил в разных европейских городах — краткими периодами в Вильно, Лемберге (нынешний Львов), Берлине, Варшаве, подолгу — в Вене и Париже. В 1929-м пытался переселиться в Палестину, однако, не приспособившись к стилю жизни тамошней общины, меньше чем через год вернулся в Европу. Нигде и ни с кем не был "своим" — ни по культурному, ни по гражданскому статусу (как говорит литературовед Ноам Пинес, жизнь Фогеля — яркий пример чрезмерного даже для еврейской диаспоры *тлииута* — оторванности, обособленности, или, в более широком смысле, "бездомности"). Первая мировая война застала его в Вене, где он, как подданный Российской империи, был арестован австрийской полицией и два года провел в лагерях для интернированных. В начале Второй мировой та же история повторилась во французском городке Отвиль, недалеко от Лиона — там его арестовали уже как гражданина Австрии, правда, на этот раз освободили сравнительно быстро. Третий арест — в октябре 1944-го, снова в Отвиле — оказался для Фогеля роковым: в официальной справке, полученной два года спустя его дочерью, сказано, что он "был депортирован в Германию с группой политических заключенных" (или, если без эвфемизмов, с группой французских евреев, отправленных в лагерь уничтожения). Погиб в Освенциме.

Стихи Фогеля — и те, что вошли в его единственную поэтическую книгу "Перед темными воротами" (1923), и более поздние, печатавшиеся в периодике или оставшиеся в архиве (самые последние датированы 1941 годом), — почти не имеют точек соприкосновения с современной ему ивритской поэзией. По наблюдению Михаэля Глузмана, "мы не найдем у Фогеля ни одного стихотворения о Палестине, сионизме, патриотизме или, в принципе, о какой-либо коллективной проблеме". Все, что интересует его как поэта, связано исключительно с переживаниями единичного (и неизменно одинокого) "я", воспринимающего мир в сугубо "частном" ракурсе. От общественно значимых тем и всякого рода идеологий он декларативно отстраняется: "...Вернемся в себя! / Этот лес густ и тих, будем жить в его глубине, / ближе к жизни, ближе к смерти. / Коснется нас падающий лист — и достаточно нам". На фоне ивритского поэтического "мейнстрима" 20—30-х годов (Хаим Нахман Бялик, Авраам Шленский, Ури Цви Гринберг) его поэзия выглядит совершенно инородной — не только в "идейном" отношении, но и по форме: стихи без рифм, регулярного размера и симметричных строф (других у Фогеля почти нет) в тогдашних изданиях на иврите — явление чрезвычайно редкое.

Не удивительно, что по-настоящему он был прочитан лишь через три десятилетия. "...С 1952 г., — пишет об этом Дан Пагис, — когда были опубликованы семь последних стихотворений, найденных в его архиве, на него обратили внимание молодые поэты и критики, которые и 'открыли' его заново. В некотором смысле они открыли в нем самих себя: в сборнике 'Перед темными воротами'... они обнаружили приметы стиля, сходные с теми, что к тому времени уже вошли в обиход нашей новой поэзии".

Поэтический мир Фогеля строится на основе немногочисленных, из раза в раз повторяющихся мотивов: лирический герой всегда "скитается" или "бродит" (это, по существу, все, чем он занят); и он, и окружающая его природа постоянно охвачены "страхом" и "дрожью"; общая атмосфера, как правило, меланхолически-осенняя; едва ли не в каждом стихотворении — "ночь" (реже — "сумерки" или "вечер") и "лес"; в цветовой палитре главенствует "черный" или "темный" (особенность, в свое время не без сарказма отмеченная Шленским: "Перед темными воротами"... Снаружи: черная обложка. Внутри: 'черные одежды', 'черные птицы', 'черный корабль', 'черный орган ночи', 'темное вино', 'темные письма', 'темный лес'. И ночь — ночь — ночь. У отца тоже 'черное пальто' и 'борода его черна"). Это мир фрагментарный, составленный из разрозненных, словно бы сомнамбулических картин, проникнутых печалью

— изредка светлой, чаще — гнетущей. Здесь у тоскующего "я", alter ego автора, нет собственного места. Все, что ему доступно, — это странничество и отчужденное созерцание, предметом которого могут быть и едва заметные, мимолетные явления, как в знаменитом стихотворении "Осенними ночами..." ("...Падает в лесах невидимый лист / и тихо ложится на землю. // В ручье / рыбг выпрыгивает из воды / и эхом влажный удар / отдается во тьме. // В черной дали / дробный галоп незримых коней / исчезает, растаяв..."), и про-зреваемые в настоящем образы давно прошедшего детства, и даже — в единичных случаях — события "большой" истории, как в стихотворение "Топот армий по всей вселенной...". Но на что бы ни был направлен взгляд ему всегда открыта одна и та же перспектива, одновременно пугающая, заволакивающая — "темные врата", "вагон, единственный и последний", "длинный иссохший палец", стучащийся в окно, и т. п. В этой перспективе фогелевская реальность часто приобретает катастрофические черты, как если бы неминуемый конец уже осуществился, точнее, осуществлялся бы непрерывно. Отсюда странные стихи о мертвецах, висящих на чердаке, о частях тела, которые сами собой "высыпают на улицы", о "мечах", воткнутых в колыбель младенца. Можно предположить, что в этих жутких образах как-то сказались и впечатления прошлой войны, и предчувствия новых ужасов, связанных не только с Холокостом, но и с разрушением прежнего уклада столь близкой для поэта европейской культуры.

* * *

Прислушаюсь к времени,
капля за каплей течет, исчезая, —
а я всегда здесь.

На брюхе своем ночь проползет,
как тучная скользкая тварь,
след ее влажен.

Дети растут и проходят
мимо меня,
вот-вот побелеют их кудри.

Утро, моргая, встает,
кончается дремлющий полдень,
глядь — уже вечер неслышно
льется темным вином
в голубую лохань —
а я всегда здесь.

* * *

Не бойся, мой мальчик,
это просто две мышки
прыгнули со стола на стул.
Они меньше, чем ты,
и не смогут тебя проглотить.

Не бойся, мой мальчик,

это влажный палец дождя,
стучится в окно —
не открывай его.

Спрячься во мне хорошенько,
я — твоя мама.
Над головами раскинем темную ночь,
и никто не найдет нас.

* * *

Лунными ночами
где-то мчится всадник,
дорожной пылью покрытый,
топот невнятный
длится тогда
в ночном серебре.

Длинная тень движется быстро
через дрожащее поле.

Во мраке комнат
лунатичка
робкими шагами
нащупывает путь.

А утром просыпаются люди —
и нет ничего.

* * *

Собака, хорошая моя,
перед величием твоей любви склоняюсь!
Дай прижмусь головою усталой
к твоей спине
и в плаче зайдусь долгом и горьком - - -

А после мы встанем,
безмолвные встанем,
и, сгорбившись,
головами поникнув,
будем скитаться денно и ночью,
пока не придем к одинокому
серому камню;
мы головы на него опустим,
и наши души, сплетенные воедино,
угаснут.

* * *

Золото пустынного полдня
грузно лежит на песчаных равнинах.

Усталое бледное
небо зыблется
над тишиной.

Солнце опускает на землю
ногу в золотой туфле.

Следы верблюда уходят вдаль.
И следы человека.

В них — мелодия
тихая, скорбная.

На изломе дня
красное солнце заскользит к горизонту.

И серая тень закачается
вдалеке, словно палец,
темный и длинный.

* * *

Утро ошеломило округу
снежным покровом.

Растекшиеся пятна крови
тут и там на снегу заалели.

Пальцы, руки и ноги
высыпают на улицы
и, темнея, падают
в снег,
как деревья мертвые ветви.

Одинокие глаза
отовсюду выскакивают,
черные, голубые,
в боли остекленевшей.

Нога шагает нетвердо,
младенцы в испуге
лица уткнули в фартуки матерей
и плачут,
тихо плачут.

Утро уже ошеломило округу
снежным покровом.

* * *

На чердаке
висят наши мертвецы, голые,
один над другим.

Ночь за ночью
вместе висят
и молчат.

Проходит время,
увядает и чахнет их плоть,
удлиняются трупы.

Стражник слепой
вечно с ними сидит,
повелевая покоиться.

* * *

Черные гробы для тысяч и тысяч
будут ждать, пустые,
по всей земле.

Рядом с ними старцы
безногие
в полтела поднимутся
и протянут
длинные иссохшие руки.

Люди робеют,
прячутся дома
и в жизни сердечной.

По ночам
подступает к окну
длинный иссохший палец
и тихо стучится.

* * *

Но вот уже ночь,
кроме нее — никого.

Где-то
пустая телега мчится по склону горы
из глубины нашего детства.

Тысячи лет назад
здесь был город —
теперь лишь опрокинутый башмак маячит
на фоне времен.

Все мы умерли.
Нога отсеченная будет гулять одиноко,
белея по всей вселенной.

* * *

Вагон, единственный и последний, готов
к отправлению,
войдем же в него и поедем,
ибо ждать он не будет.

Я видел уезжающих девушек —
их тонкие лица
алы и скорбны,
как рубины закатов, —
и розовых пухлых детей,
что едут, повинуюсь наивно
чьему-то зову.

Я видел людей
надменных и горделивых, прошедших все улицы мира,
большие глаза их могли проникать
далекие дали —
спокойно поднявшись в вагон, они тоже
уедут.

Мы — последние,
Кончается день.
Вагон, единственный и последний, готов
к отправлению,
давай же и мы тихо войдем
и поедем,
ибо ждать он не будет.

* * *

Топот армий по всей вселенной,
все вышли на битву.

Ветер бойни пирует в мире —
я остался здесь лишь на мгновение.

Я знал, что он не минует
ни меня, ни жены, ни ребенка.

Но ради чего убивать и быть убитым?

От долгой смерти ушли мы,
по узкому мостику жизни
поспешно пройдя —
прямоком к долгой смерти,
Бедны мы
и голодны.

Слепой туман
развалился в мягком снегу.
Скрыл от глаз моих улицу
и волны леса, что льются с горы.

Нет нам тепла.

У меня еще остается
чуть-чуть —
сварить ложку супа.
Позову бедняка,
чтоб со мною поел
и рядом прилег на соломенном ложе.